



Федор Метлицкий

Драма в конце истории

Антиутопия

Федор Метлицкий
Драма в конце истории

«Автор»

2014

Метлицкий Ф. Ф.

Драма в конце истории / Ф. Ф. Метлицкий — «Автор», 2014

В конце XXI века возобладало влияние Универсального Искусственного Интеллекта. Поэт и журналист Веня, с сединой в волосах, расследует массовые самоубийства в сытой цивилизации, которая привела к опасной степени разрушения личности. У него появились враги, и он внезапно исчезает. Его молодой последователь считает, что Учителя убили. И хочет понять причины его исчезновения и найти его, ведь давно ушло время бандитских разборок, исчезли конфликты и войны.

© Метлицкий Ф. Ф., 2014

© Автор, 2014

Содержание

1	5
2	7
3	9
4	18
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Федор Метлицкий

Драма в конце истории

1

Кто-то видел его, когда он шел в свою тайную квартиру, и исчез в подъезде. Когда прошла неделя после его исчезновения, мы, его друзья, написали заявление в полицию о возможном убийстве.

Он собирался опубликовать какой-то разоблачительный материал о насилии властных корпораций над общественным сознанием.

В интернете закружились, как ястребы, блоги, угрожая отлучением от цивилизации Вене, слабому деликатному поэту с сединой в волосах.

Особенно задевали статьи и эссе, в которых он искал причины серии непонятных массовых самоубийств в так называемых «зонах отчуждения». Писал в защиту "лишних людей" и общественных организаций, отброшенных цивилизацией. И приобрел славу не поэзией, а статьями и эссе. Он получил известность, его стали называть «совестью эпохи».

Наше заявление о возможном убийстве удивило, Веню никто не трогал, хотя власть могла фиксировать не только все на каждом сантиметре поверхности на расстоянии 10 км от пилота мультикоптера, но и отслеживать мысли каждого.

Сейчас, в конце двадцать первого века давным-давно ушло время бандитских разборок, время, когда протестующим затыкали рот посредством суда или накатов на оппозицию. Исчезли страсти, двигавшие человечеством тысячелетиями, – войны, убийства ради обладания территориями и имуществом, семейные трагедии из-за нехваток, воровство и коррупция, потому что все стали сытыми.

Империй давно нет, они в основном распались на мелкие страны в тяжелой борьбе за свободу и идентичность. Больше того, границы стали незаметны, так как не стало смысла в пограничных пунктах, визах и паспортах. И даже потеряна сладость свободы, она стала как воздух, незаметный для дыхания. Хотя иногда над какой-нибудь маленькой гордой страной дежурил неопознанный объект, и входили вежливые люди в военной форме без опознавательных знаков.

Люди успокоились, перестали открыто драться – не толерантно. И трансформировали злость и обиды в спортивные соревнования, сейчас уже перенесшиеся в космос: кто первый ступит ногой на землеподобную планету.

Тем более, Веня уже однажды исчезал, отправившись с геологической экспедицией на какие-то неведомые острова. Все считали его погибшим, но он появился только через три года, не сказав, где был.

Я узнал о его исчезновении на работе, позвонил его приятель, и нахлынула волна смутения, как будто Веня значил для меня больше, чем близкий родственник. Может быть, он жив? В мыслях было одно – спасти его. Выскочил на улицу, не зная, куда идти.

Отчего его исчезновение подействовало на меня так тяжело? Теперь семьи, ушедшие за горизонты в интернет, не так привязаны друг к другу, как близкие по духу. С потерей родных уже нет безысходного одиночества, люди стали тесной общностью в глобальном информационном мире. Во мне словно что-то оторвалось, и я остался один, ощутил себя одиноким светом умершей звезды. Исчезла какая-то опора моего неокрепшего сознания. Как жить?

Ни у кого из его друзей, в тяжело осевшей на сердце потере, не возникло неотступного желания расследовать это дело, словно отвыкли от действенного гнева.

И во мне было бессилие. Нет охотничьей хватки следователя, не знаю его приемов. Или понимал, что больше его, наверно, не увижу. Но не уходила тревога – куда он исчез? Исчез он сам, или ему помогли? Тогда кто мог так запросто отнять совесть эпохи? Чем он мог помешать, да еще до такой степени ненависти.

У меня появился навязчивый «синдром Ивана Бездомного», как называл его Веня, смеясь над нами, – тот уверенно шел по стопам исчезнувшего Воланда, уверенный в своей интуиции.

2

Вспоминаю себя прежним, готовым и к отчаянию, и к непонятному счастью, и ту ночь, когда впервые узнал о Вене.

У меня бессонница, читаю до тех пор, пока не приспичит. В туалете, чтобы не терять времени, касаюсь кнопки карманного пульта управления, и появляется бело-синяя обложка философского журнала, с тактильным ощущением пахнущего бумажного издания. Скользящим мановением ладони переворачиваю страницы, приближая, чтобы разглядеть моим близоруким взглядом.

Философию сейчас никто не читает, нет интереса. Зачем, когда наступил конец истории. Я один во всей округе ищу что-то в эзотерической тайне философских книг, наверно, считают за ненормального.

Снизу зажурчало, меня прополоскало и мягко вытерло. В трубах тоже слышится журчание, сначала сверху, а потом снизу. В большом доме там и тут уютно журчат.

И вдруг осознал, насколько далеко мы ушли от древних предков. У них не было таких невысказанных удобств. И почему-то стало противно.

Продираюсь сквозь дебри философских терминов, на которых не разговаривают. Что это за люди, думающие так? Наверно, живут нелегко, любят, страдают, но на выходе – бесстрастно рассуждают о судьбе человека, забыв о своей. Вглядываются в серую бездну метафизической проблемы и выдумывают теории, не понимая, что это мертво без возбуждения надеждой всего их существа. Как будто никогда не сидели так, не спали с женщинами. Как-то попала на глаза книжка о сексе. Некий автор-андроид, сухой мертвец, застегнутый на все пуговицы, поучал: секс должен быть один раз в квартал. И не более! Как же я ненавижу этого зануду!

И вдруг останавливаюсь на статье, открывающей, казалось бы, старую идею двадцатого века: нет объективных истин вне человека, включая Бога, мы сами порождаем наш мир, выгораживая его из хаоса творческим усилием. Создаем богов, постигаем законы природы, делаем все, чтобы было удобно этим журчащим в туалетах соседям. За человеческим сознанием нет ничего, кроме того, что может быть еще открыто.

Но откуда взялись мы? Из первого взрыва, образовавшего вселенную? А взрыв – откуда? И вообще, что это такое?

Так я впервые прочитал статью Вени.

– Ты что не спишь? – слышу слабый голос мамы из спальни. Я ее единственная забота, она всегда в тревоге за меня.

Тушу свет, чтобы она успокоилась. Жалость к ней и вина преследуют меня. Мы остались одни, отец ее не любил, и где-то сгинул в чужом мире.

Чтобы заснуть, стараюсь отогнать мысли – задерживаю дыхание, до дна, выдерживаю паузу, а потом естественно глубоко вдыхаю, чтобы вызвать сонное помрачение. Иначе – бессонная бездна в голове, где легко всплывают отпущенные на волю бесцветные мысли. В них нет той догадки, озарения, когда все существо, на плато расположенности к миру, содрогается от любви, и успокаивается. Как в юности: полночный шум машин, что ищет он отчаянным порывом? Под тополями шум пустынный шин изнемогает глухо, без отклика. Там где-то ты...

И пришла догадка: главное – самопознание! То есть, поиск за обыденной картинкой существования, в тумане глубинного шевеления гениальности – подлинной боли моей судьбы, теряющей близкое. Иногда я делаю гениальные догадки механически, будучи пустым, без оценки внутреннего я. Искать близкое! И тогда возникнет непонятное волнение – внезапное озарение всего существа, и ты готов заплакать, любить, писать стихи.

Эта мысль успокоила, успокоила...

Возникло огромное здание некоего коллективного труда. Все собрались за длинными столами на праздник, а нас не пригласили, какие-то мы в нашей дальней комнатке едим принесенное из дома, слушая, как там кричат тосты, и не хочется посылать за водкой. А потом тихо расходимся.

Ощущение, что забываю дышать, вот-вот умру. Но дикая жажда жизни заставляет вскочить и отдышаться. Что за черт? Отчего это гнусное унижение? Из-за какого-то корпоратива, устроенного коллективом-хищником? Это же мое министерство, где начинал работать! Оказывается, во мне не заживает рана изгнания с работы! Ага, вот отчего было противно уютное журчание в туалетах!

Потрогал лоб. Эта голова, которая никому не служит, кроме себя. И оттого такая тоска. Как убрать невидимую стену между мной и миром? Физически чувствую что-то непреодолимое.

И – нервная усталость, с утра, словно не могу преодолеть что-то гнетущее, нависающее особенно ночью. До того, что могу понять полную апатию или безумие.

Встаю с постели, смотрю на себя в зеркало в ванной. Не люблю страдальческого выражения на слишком юном лице. Нелепый вид!

Делаю зарядку под невидимый голос новостей.

И вдруг поразился: о чем они говорят? Не понимаю страстей, которыми живут люди. Какие у них ценности, цели? Как будто улетел от человеческих ценностей в космос, и снова не знаю, кто я и что делать. Вижу сознание людей чем-то искусственным – не понимают, над какой темной бездной они строят свою хрупкую опору.

Во мне просыпается и следит независимый наблюдатель. И становится легко, перестает жечь чувство унижения. Вижу на краю галактики странных живых существ – разросшийся шевелящийся геном. Что это за живые существа, рожденные с одним маршрутом – из элементов, сгустившихся в гены, распутившиеся в кусты разнообразных особей для того, чтобы процвести и исчезнуть? Какой в этом смысл?

Мама уже приготовила мне привычный завтрак – овсянку и бутерброды к кофе.

Не замечая, сую в рот какое-то вещество, приготовленное для роста организма, с элементами космической таблицы Менделеева. С утра желудок наполняется с ощущением неудобства. Смотрю на чашку и ложку – из каких материалов залетевшей кометы они сделаны?

Проглотил таблетку от простуды, то есть вещество для исправления моей колонии генов.

Странно, взгляд стороннего наблюдателя во мне избавил от жгучего чувства оскорбления.

Мы молчим – о чем говорить? Знаем друг о друге все, и потому мне отраднo и скучно с ней.

3

Выхожу на работу в семь *a. m.* по мировому времени, в сыром сумраке. Иду через Нью-сити на окраину, к метро, чтобы попасть в нашу отчужденную зону.

Под бесстрастной зарей, словно входом в веющий холодом космос, полукружьем над заливом Нью-сити спасительно сияет огнями громадных зданий с кривыми поднимающимися и спадающими серебряными крышами, со светящимися органическими светодиодами рекламных баннеров в перекрестьях прожекторов. Вот, из Чайна-тауна вырос кокон земного шара, окруженный смиренными терракотовыми китайскими воинами; огромная фотография самоуправляемого мобильного модуля BMW в окружении традиционных львов с надписью на китайском «bao ma» – «драгоценный конь»; снующие анимационные японские «тарелки» – помесь авто и летающих машин. Дальше – в высоте реклама на английском «Самые тонкие нано-презервативы, натуральный эффект!» с бегущей в объятия друг другу и страстно сливающейся парой...

После подтопления городов Соединенных Штатов и ряда городов Европы, исчезновения островов Японии, – от таяния льдов Арктики мировые рынки наводнили Китай и страны Американского континента.

Над зданиями неслышно скользят «тарелки», принадлежащие корпорациям. Какой-то чужак летел с аппаратом за спиной, как вещмешком, наклонившись головой вперед, с нелепо болтающимися ногами.

Прохожу мимо самого высокого здания, огромного вертикального кристалла со сталакти-тами по бокам – Центра Универсального Искусственного Интеллекта (ЦУИИ), его хранилище информации превысило объем информации человеческих мозгов всего мира. Его автономные космические центры посылают на другие планеты андроидов и насекомообразных роботов, вобравших в себя все удивительные приспособления для выживания в живой природе, которые умеют видеть во всех цветах спектра, убегать от угрозы и общаться друг с другом, находить поставленную цель. Наша планета превращается в самоуправляемый компьютер, распространяющая свою логистику в космос.

Блестят на солнце прозрачные аэрозольные¹ здания корпораций олигархов – «народного достояния»; супермаркеты с гламурными китайско-индийско-американскими чудесами товаров внутри, с тихой отрадной музыкой, уводящей в покой немислимого изобилия; жилые здания, где расслабленные семьи погружены в nirvanу удобств технического прогресса, не видя за окнами теней спешащих замкнутых в себе людей.

Невольно возникает мысль: что будет, когда космос пожрет это спасительное зарево?

Но я смотрю на все это с предубеждением. Нет, меня там ждут, «ваше внимание для нас ценно!» Но противно в виду явного перевеса подозрительного интереса над подлинным радушием.

В свою «зону отчуждения» на окраине Нью-сити я еду на метро – оставшемся от прежних времен старинном непрестижном транспорте. Метро, дороги здесь до сих пор не в порядке, они потеряли былое значение с изобретением «тарелочного транспорта».

Бегом спускаюсь вниз по движущемуся эскалатору, глядя налево на поднимающихся вверх по эскалатору мелькающих людей, и кажется, шагаю семимильными шагами, прочь в неизвестность.

В вагоне хмурые люди, пожилые тетки сидят, задумчиво уставившись в себя, девчонки пляшут тонкими ногами, погруженные в наушники дисплеев. Меня поразила горделивой осанкой красавица напротив, под моим взглядом незаметно прикрывшая чудесные колени подолом

¹ *Airglass* – легкое воздушное стекло, теплозащитное и удерживающее огромные тяжести

плаща. В этом несоответствии открытых ног и длинного раскрытого плаща скрывается что-то глубоко женское и порочное.

Я углублен в себя, вижу себя началом и концом всего, где-то по краям мерцает иная жизнь. А в центре независимая гордыня, уверенная и знающая свою власть, – отрада, противостоящая холодной отчужденности серых людей. Я, единственный сам себе, смущенно-стеснительный и готовый на опрометчивое действие, отвожу глаза, прежде чем она посмотрит на меня. В ее гордой посадке головы, изящном движении руки есть что-то недосыгаемо интеллигентное и порядочное, обещающее высшие наслаждения. Она беспокойно очнулась, смотрит мимо ровно.

Вся моя тоска исчезла в чем-то податливо счастливом, ушли чужие неуютные громады зданий. Я воображал ее, как она ищет меня и, увидев, широко открывает молящие глаза, а я пренебрежительно отворачиваюсь. И потом, на улице, снова встречаю ее молящие глаза, и снисхожу. Воображаю, как читаю ей мои дивные стихи, и они льются прямо в ее бездонные жаждающие глаза, и мы понимаем друг друга до каких-то невероятных глубин, и сливаемся в поцелуе.

Я не надеялся ни на что, у нее своя жизнь, и она была для меня мгновением душевного счастья, которое больше не повторится, но всегда буду помнить и тосковать о нем.

На моей остановке она отчужденно вышла, и я за ней. Она быстро исчезла.

Механически перехожу улицы, забытые нетерпеливо спешащими био-автомобилями. Никакой отрады! Вообразил неведомый город, кудаходишь, как в родное лоно, где все открыто тебе и улыбается, – уютные улицы с зелеными тенистыми деревьями по сторонам, на каждом углу дружелюбные уличные кафе под навесами веселенького цвета.

Вспомнил дачу с тихим шелестом листвы и одиноким небом, дачников в старом тряпье, вытасенном из сундуков, вольный стук работ. И с радостью представил, как уеду туда с мамой в выходные.

Не люблю эту облезлую окраину, да и чопорный Нью-сити тоже. Никак не могу свыкнуться с этим холодным неуютным местом на высоком холме, на самой розе ветров. Широкие неуютные улицы и площади, торжествующие громады под серым небом. Они как будто вдвинулись в мозг, безнадежно отрешенные от моей жизни, и так будут торчать до самого конца. Как будто люди не думали друг о друге, общем уюте, а преследовали какие-то другие собственные цели.

Может быть, это тусклый свет северной страны, а мои предки были южане? Я, как все, не помню своей родословной. Обогатели города могут на меня окрыситься, но чувства, как и времена, не выбирают.

В загаженном дворе облезлый пятиэтажный дом без лифта, забираюсь по сколотым ступенькам лестницы на последний этаж. Там, в большой комнате наша некоммерческая организация.

Она находится в зоне отчуждения, мало отличающейся от условий начала века, и пользуемся мы остатками его устаревших технологий – древними компьютерами и планшетами. Такие зоны остались как отработанный материал прошлой цивилизации, но которые еще могут приносить пользу. Неутомимые местные художники покрыли ее строения пестрыми красками и разрисовали граффити, зона стала похожа на музей старых трущоб.

Наше заведение – типичное явление самоорганизации общества, нежелательное и не финансируемое экономической элитой, вечно требующее чего-то наносящего урон мегакорпорациям. Обнаружилась естественная черта корпоративной власти: они могли, словно по чьей-то высшей воле, мгновенно прижать протестную организацию, не прибегая даже к прокуратуре и суду – отключить по естественным экономическим соображениям то, что в их собственности – свет, воду, кнопки информации и рекламы.

Мой шеф-идеалист, уже не молодой, но такой же романтик, как я, затеял проект – создание экологически чистых районов. Это была мечта о сплошном экополисе на нашей земле. Он затевал это не ради денег. Они должны были валить валом как побочный продукт прекрасной идеи.

Мы хотели сделать "зелеными" зоны отчуждения, объявленные умирающими из-за нехватки средств. Ибо все сосредоточилось в мегаполисах. Расширение мегаполисов объяснялось удобствами кучковаться подобно муравьям, и экономией. Так что, мы прозябали. Без первоначального капитала нечего было рыпаться.

Но Нью-сити всегда был готов принять из гетто тех, кто сумеет принести пользу. «Выплывайте, и примем». Мы были на листе ожидания с нашими экологическими программами. Наша надежда была на то, что искусственная продукция, в том числе радиоактивная и генетически модифицированная, которую производят новые технологии, начала уходить из потребления, и в цене сейчас все экологически чистое.

Сначала мы преуспевали, удавалось дурачить себя и наивных провинциалов. Но, как стало понятно, еще не пришла настоящая востребованность нашей идеи, общество было занято чем-то более важным. И денег, естественно, было мало.

Мой шеф говорил:

– Известный оппозиционный сетевизор был отключен от заказчиков и отбивался, как в окопах, целый месяц, пока не пропал. А я всю жизнь под топором, и ничего, выживаю.

В нашей дыре мне больше нравится, чем на первой работе в Министерстве саморегулируемых систем. Я был принят по конкурсу уровней «ай-кью». Министерство не изменилось с древних времен, как будто не существует другого способа управления: все та же вертикаль подчинения руководству и плану.

Министерство ведало Центром универсального искусственного интеллекта. Все там были одеты в легкие корпоративные комбинезоны с эмблемой на груди – самым известным брендом. Основная часть были обслуживающие клерки. И я был клерком.

Я удивлялся: они выглядели слишком здоровыми, без признаков выстраданного опыта, словно барахтались в тихой заводи бесконфликтного мира. Почему их не тяготит механическая работа, как автоматов? Во что тогда превращается творчество? Наверно, в создание нейтронной бомбы, однажды чуть не взорвавшей планету.

У меня, пришедшего из Академии, сразу возникло ощущение, что не я творю свое дело, а Универсальный искусственный интеллект, на который мы работали, втягивает в какие-то свои резоны и доказательства, которые противоречат чему-то во мне. УИ сразу считал мои тайные мысли, обнаружил во мне склонность к поэзии, и сделал упрек металлическим голосом, что я не пользуюсь электронным стихотворцем. Казалось, он недоумевал, как это можно противоречить его прекрасному гармоническому миру. И стал внушать, как достигать вдохновения. Само вдохновение у него выглядело, как блаженное состояние идиота.

Но я продолжал писать стихи моим примитивным разумом, не поддерживаемым технологиями.

Мое поведение почему-то задевало всех. После моей командировки в провинцию руководитель сектора с недоумением полистал мой отчет.

– Что за отсебятина?

– Как?

– Язык – отсебятина. И предложения – слишком эмоциональны.

– Не могу казенным языком!

Он едва сдерживался. Наверно, от любования моим задором.

– Казенный язык – это строгий стиль. Язык логики.

– Для прикрытия равнодушия!

Он снисходительно оглядел меня из каких-то своих высот опыта.

– Переделать. Ничего, мы из тебя выьем отсебятину.

Я не понимал: что это? Почему нельзя быть искренним в деловых документах? Откуда страх перед искренностью, почему она опасна? Что от меня хотят?

Там было совсем невыносимо – каждый исполнитель делал свой кусочек нудного дела, и общего замысла никто не знал. Я даже написал стихи:

*Как будто мир провалился в ведомство,
Все – измерений там не людских,
И в нервной дрожи мы, как подвешены,
Порывы режут там на куски.
Как получилось, что в мире грубом,
Мольбе Спасителя вопреки
Вошли в духовную мясорубку,
И соберем ли в крови куски?*

Мой листок пошел по рукам. Впервые я обрел известность. Руководитель сектора был в полном недоумении от абсурдного нарушения незыблемых основ и общепринятых норм.

– Эх, а ведь у тебя могло быть большое будущее!

И меня уволили.

Мы остро переживали равнодушие, вернее, полное отсутствие в умах властных администраций мыслей о помощи нашему благородному делу. В министерствах похлопывали нас по плечу: «Хорошее дело!», присылали ничем не обязывающие приветствия и письма поддержки (то есть, их писали те сочувствующие клерки, возможно, девочки, которым было указано отписываться от бесчисленных письменных просьб). Там вечная чехарда чиновников, только-только поверит в нас один, как его сменяет другой. И странно – наивная глубинка отзывалась вяло. Может быть, им не до нас, выживают?

Наше отмирание считалось естественным. Так что, мы прозябали.

Веня, о ком я узнал по его статьям, защищал такие, как наша, организации гражданского общества, которые остались за бортом новой цивилизации.

У нас проходной двор. Сотруднички те еще, здесь не задерживаются. Экология никому не нужна. Лучшие, с мозгами, уходят в вольные инновационные комьюнити, получившие название «Сколковские долины», или уезжают за границу, и то после перспективных вузов.

Шеф из-за постоянного смутного ожидания краха и ответственности за нас стал нелюдским. Молодые сотрудники из-за чувства временности выглядели легкомысленными. Их детское ожидание, что положат в рот, осталось еще со времен тоталитарного патернализма. Или это вообще свойственно молодым – ожидать от жизни манны небесной. Все они после институтов потерялись в усиленно зарабатывающем мире. Только восторженные души приехавших за удачей провинциалов, которых мы принимали на низкую для их амбиций зарплату, еще верили в нашу великую миссию.

С тех пор, когда шеф назначил меня замом, я перестал относиться к ним добродушно. Терпеть не мог эту разношерстную публику, пришли в нашу забегаловку, потому что не брали в солидные учреждения из-за отсутствия опыта, талантов и от безграмотности. Пишут простыми нераспространенными предложениями, полагаясь на редактор компьютера. На столах бардак. Берут чужие флешки, и забывают возвращать.

Вначале я думал: откуда взялись эти монстры, устремляющие безразличный взгляд со скрытым огоньком прямо во влекущую цель, равную жадному осязанию денежных знаков. Но

потом привык, и начал жалеть. Сознание моих сослуживцев не переходило пределы всякого рода необходимых для самосохранения общественных понятий. Но им неведомо было, что там, за пределами установленных правил. Это сознание стало генетическим, порожденным древним всепоглощающим страхом. Наверно, есть где-то другие, но они требуют зарплату толщиной в котлету. За идею никто не пойдет.

В нашем офисе царит безмятежность, как на лежке сытых зверей, не готовых даже в случае голода преобразиться в энергию, отрывающую куски от жертвы, не зная о ее боли. Все представляют наше временное пребывание здесь как недоразумение.

Внештатный Чеботарев спрашивает:

– Помните, что сегодня День космонавтов МВД? Парламент установил – после избияния их во время революции против коррупции и авторитаризма.

– Разве? – удивляюсь я.

– Как можете забыть? Праздник, установленный еще в первой трети века!

– Знаю только День Беркута.

Он собирает информацию об объявленных когда-либо парламентом праздниках, портреты героев древней великой войны, радостно оглядывая парадные мундиры с маршальскими алмазными звездами на галстуках и орденами на всю грудь, его увлекали рассказы деда о сражениях (дед не любил вспоминать окопную жуть). Он наслаждался величием родины, победившей ее врагов. Этот мир побед и официально установленных ритуалов казался ему мистически огромным, в котором он лишь песчинка, но неотделимая от этого мира. Что еще нужно? Успеть бы переварить эту радость.

Каждый спешит поделиться своим.

– А вот у меня... – поднимается в них нетерпеливая волна собственного бытового «я». В отличие от меня, они не связаны гонкой за чем-то недостижимым, смотрят в мир как в слепящее сияние бесконечных благ впереди.

– Вот закончу аспирантуру, и меня не узнаете, – голос толстой Лиды с красивыми глазами.

– А вы, коллега, и сейчас ничего, – приобнимает ее Чеботарев.

– А вы-то при чем? – отодвигается она.

У нас с Чеботаревым разные вкусы. Я равнодушен к слишком жестким, упертым женщинам, несмотря на гипнотическое воздействие женщин на меня. Вероятно, и Лида не переносит таких слюняев, как я.

Чеботарев продолжает как ни в чем не бывало.

– Я родился в солнечной Азии. Оптимист! Хочу прорваться через каменоломни, чтобы выйти на свет. Только в наше время можно стать богатым и счастливым. Не помешали бы радикалы.

– Чем они тебе помешали?

– Как чем? Каждый хочет, чтобы не было хаоса.

Мне его жалко. Ему, приехавшему за удачей провинциалу, нечем платить за съемную квартиру, и никуда не брали из-за малого опыта и чудовищной безграмотности. Прирабатывает в котельной, и в качестве рекламы-бутерброда от какой-то фирмы. Это растрепанный малый, начинающий и не заканчивающий ни одного дела. Он сразу заявил:

– Я пришел сюда, потому что у вас чистая идея, то, что нужно душе. Хочу делать добро.

Дебильный оптимизм облегчает ему жизнь. Он плывет по течению, не имея ни упорства в учении, ни трудолюбия, кроме колоссальных амбиций. Его спасал велфер – государственная программа поддержки лентяев всего мира.

Он показывает свой портрет в виде морского офицера, с кортиком. Новая старая мода. Видимо, сделано фотошопом на компьютере. И хвастается своими коммерческими способностями. Его спрашивают:

– Как тебе удается заниматься торговлей?

– Что-то свыше внушает. Я волшебник. Да... Смотрю ваш каталог. Как это у вас стройно получается? Я бы взялся. Надо бы еще вложиться вашей лавочке, по самому минимуму. На рекламный щит «Чистый район», ну, там, на аренду площади. А я уж развернусь.

– Да, барахло будешь продавать, подорвешь престиж. У нас работать надо. По-черному.

– Хочу работать телекомьютингом – отдаленно, на дому.

– А кто будет за тебя здесь работать? Обслуживать звонки, дежурить, поджидая тебя, редактировать?

– Я не могу. По ночам дежурю в кочегарке. Всего тысячу юаней. И премии не дают, если засну.

– Не хватает?

– На себя не выходит.

– А на семью?

– Жена в каменоломнях, с детьми, под Ростовом. На велфере.

– Значит, ты себя, а она семью в каменоломнях кормит?

Только потом мы узнали, что это поселок Каменоломни.

Как же ему удастся весело жить? И еще быть уверенным в себе.

Юная дурнушка-секретарь восхищается в своем женском кругу:

– Представляете! Мне, по женской части, выписали китайское лекарство. Китайское!

Для нее, не знающей больших денег в семье технической работницы, дорогое халявное импортное лекарство – чудо. Ее тревожное лицо в красных пятнах ходит ходуном от волнения – она беременна.

Ассистент Светлана сочувствует ей. Она из верующей семьи, на ее столе иконки.

Мой приятель бухгалтер, за глаза его зовут просто Бух, с худеньким узким лицом, юркий, неопределенных лет, благодушно расположен ко всем, восторгается моими стихами, но так и не прочитал сборник, старательно введенный в его компьютер, по его же просьбе. Я не обижаюсь, и никого не виню, но странно, что мои чистые порывы никому не нужны.

Он восхищенно выдает нам все сплетни о коррупции в эшелонах власти и политике, и о скором конце света, взятые из загадочных сфер. У него «гостевой брак», то есть дома только присутствует, с женой не спит уже несколько лет. Мне его жалко, почему-то выслушиваю его, сам выворачиваю себя. Хотя, откровенно говоря, разговаривать с ним не о чем. Моя беда – не с кем поговорить. Да и ему вряд ли это нужно. Он добродушен, когда я над ним подшучиваю, иногда зло.

У компьютера горбится Дима, изучает какие-то программы. Он не участвует в нашей болтовне. Никогда не здоровается. Его немногословность вызывает уважение. В его загадочности я подозреваю пустоту. В замкнутых, себе на уме, обычно черти водятся. Правда, однажды увидел на его столе Кафку.

Всегда удивлялся свойству людей не сомневаться внутри себя. Ведут себя так, словно родились с готовыми, определившимися характерами, с конечными безусловными смыслами. Неужели нет сомнений, принимают все как есть? Наверно, это от древнего религиозного догматизма, когда все было ясно. И завидовал им.

Шеф не вмешивается в течение жизни в офисе, ему неловко напоминать о работе. Расслабляться тоже надо.

У нас летучка.

– Ну, как, написал обзор по району? – тяжело спрашивает шеф нашего гастарбайтера Чеботарева. И смущается, стараясь не взорваться.

Тот весело подает листочки. Он не пишет заглавные буквы, каждое предложение помещает одно под другим, как стихотворение.

– Вы где учились? – коротко спрашивает шеф. – Такое впечатление, что купили диплом. Выговор! В следующий раз – увольнение.

– Ой, ошибся, подал черновик!

Он гений мгновенной «соображалки» в поиске объективных причин не сделанной работы, спасая свое достоинство не только в чужих глазах, но и в своих. Он всегда опаздывал, и очень изобретательно изворачивался.

– Почему опоздал? Цистит одолел.

– У вас что, цистит каждое утро в девяти до одиннадцати?

Чеботарев весело улыбается. Все равно здесь не заработаешь.

Дима, горящийся у компьютера, вынимает из ушей пуговицы наушников. Он мямлит что-то односложное.

– Вы умеете отчитываться? – удивляется шеф. Тот смотрит на него с недоумением. Все результаты заданий, на месте или в командировке, прячутся в нем, как сокровища, и приходится выбивать силой.

Шеф, вникая в бухгалтерский отчет, багровеет.

– Что это за баланс? – ревниво вглядывается в цифры. – Что это за чудовищные налоги на зарплату? Целая половина!

– Так положено, – виновато говорит Бух. Он изредка заглядывает к нам – нанят только для составления бухгалтерских отчетов.

Шеф знает финансовые отчеты, тем более что они хуленькие – денег немного, но с ненавистью смотрит на буха, как будто тот виноват, что теряет такие деньжищи на налоги.

Он показывает всем мое заключение о районе.

– Вот как надо работать! В вас есть огонек, и чувство результата. Еще бы такого одного, и мы бы пробились.

Я тот еще лентяй, и не люблю техническую работу, и тем более физическую. Больше всего хочу понять себя и мир. Влечет только творческая работа мысли – поиски самого себя и выхода из одиночества. Поэтому смотрю на всякую работу как на средство, не ведущее никуда, в ней не вижу настоящей цели. Но во мне есть что-то вроде ответственности, желание добиться последнего результата. Сейчас – денег. Я нагрузился многими знаниями в моем деле, столько лишнего, вообще не нужного мечтателю, думающему совсем о другом.

– Что же ты! – кипятится шеф. – Давай придумай что-то, чтобы нам выйти из жопы. Что-нибудь гениальное.

– Хотел бы, но не могу до конца вникнуть.

– Так сиди и не рыпайся! Поднимай дисциплину.

На самом деле я чувствовал в себе безграничный талант. Или талант безграничного.

Мой мозг способен объять весь космос, но бессилён взлететь в прозрения. Я знаю все. Эти все знания содержатся в гаджетах, а гаджеты – в моей голове. Проблема в том, что мои знания содержатся в отдельных ячейках мозга, вытаскиваю лишь необходимое. Но так и нет общего охвата безграничного моря знаний. Не могу вырваться в озарение, то есть чувствую себя слепым в огромном угластом мире. Для этого надо объединить их одним душевным порывом. Но куда? Все уже и так есть. Поэтому никого не могу винить в моей беде, как и мой приятель Бух. Не ощущаю социального протеста.

Мы с шефом были бы друзьями, если бы не разница в возрасте.

Мой возраст уже далеко не переломный, но выгляжу юнцом. По молодежной моде хожу в обтянутом комбинезоне-"обдергайчике" из подогревающей ткани – в пику чиновничьим ново-

модным тогам. Мода, носящаяся в воздухе, неведомыми путями в технократический век, опростилась до древней тоги, правда, весьма утонченной, использующей новейшие материалы.

Наверно, солидным дядям кажется, что не взрослею. Это правда, хотя много думаю и, по-моему, достаточно пережил. А кто-нибудь скажет, что он взрослый? Даже занятые скучными расчетами банкиры, и невидимые нигде олигархи, прячущиеся на своих яхтах, занимаются перебиранием увлекательных игрушек. И весь их образ жизни тоже, по сути, детский, им неведомо ничего вне их игрушек. Весь мир ребячлив – посмотрите на игры расцвеченной блестящими бессмертной попсы на сценах, на метафорические действия фестивалей и олимпиад на плазменных экранах, фейерверки на праздниках с неутомимыми стандартными пожеланиями нового счастья, словно до этого была полная чаша старого (мир все также юн, как в тумане седом Одиссеи, веря в этот фейерверк – невиданной вспышкой судьбе), на эти таинственные блестящие на новогодних елках... Все в ожидании чуда, девственно сохраненного из древности! Смех!

Иногда шеф забывался, и мы увлеченно спорили, отстаивая и соглашаясь, нам обоим хотелось иметь близкого друга-соратника, на кого можно положиться и вылить накопившееся. В нем несломленная сила жизненной энергии, манящие горизонты нашего дела лихорадочно ищут выхода, заглушая мысль, что это кончится ничем.

Наши сослуживцы не понимали, что нужен не промежуточный, а конечный результат. Промежуточное принимали за конечное, и останавливались. И обижались, принимая замечания за оскорбление. Но конечный результат нужен, и к сроку. Шеф должен был доканчивать самое трудное, ибо они действительно не знали, как дальше. Свойство вялого мозга, не желающего работать по принуждению.

Шеф пробовал дать им самостоятельную работу с партнерами. Так на первое место поставили не нашу программу, а партнера, его вклад в наше дело.

– Кто должен заработать: мы или он?

– Как? Ведь он помогает нам! – протестовали благородные пост-совки. Их наивная чистота не допускала несправедливости. Еще не перетерло в темном и жестоком море бизнеса, где надо выплыть и победить.

– Он на нас итак зарабатывает! Этого достаточно.

Наших девиц шеф вообще не спрашивает ни о чем, только дает технические задания на каждый день. Это их первая работа, они еще не знают, как это – работать. Когда надо куда-то ехать или таскать, в них просыпаются женщины.

– Не знаю города, и боюсь, – говорит молоденькая дурнушка курьер, развалившись на стуле. Она из бедной семьи, но держит себя недотрогой. Тяжело ее просить принести с почты даже не тяжелые бандероли с документами. А продукты домой таскает огромными сумками.

Но в женщинах я вижу наименьшее зло. Скорее, ощущаю поэзию. И эти чертовки чувствуют, что я их люблю.

Полная Лида учится в аспирантуре, она "на полставки", но вкалывает весь день, в надежде получить как за полную ставку, но шеф виновато вздыхает:

– Не могу дать больше, будет неверная отчетность.

Она неприступна, слишком серьезна. Жаль, тоже долго не задержится.

На вид очень податливая красивая Светлана так открыта мне, что я питаю неясные надежды. Хотя чувствую в ней некоторую постность, мешающую неопределенным поползновениям.

Мы погружаемся в работу. Чеботарев ищет в интернете все, что его увлекает больше всего: голые бюсты и бедра девиц, рекламирующих похудение, разводы и соответствующие откровения сторон. Их не надо искать – вываливаются, как только откроешь интернет. Интернет оказался не чудесной свободой выражения мыслей, а засоренным плевками узкого созна-

ния юнцов, гогочущих, когда покажут палец. Где-то за этим прячутся великие книги, ответы на любые вопросы, которые можно задать.

Девочки не знают, за что братья. Светлана делает вид, что верит в не дающее прибýtка дело, она совестливая. Только Лида серьезна – добросовестно ищет полезные сведения в интернете.

Одна Лида стремится вырваться из общей уверенности в своем знании, но это для карьеры.

Во мне проходит энергия одоления старого задания, и я начинаю заводиться новой целью. В моей голове сидит гвоздем ответственное дело, которое должен успеть сделать к сроку, даже не могу уснуть ночью.

И это зная, что занимаюсь не тем, не в этом моя судьба. Но не мог уже выйти из случайной колеи, слишком оброс людьми, что зависят и от меня.

4

Только с новыми приятелями из редакции журнала "Спасение" мне становится лучше. С ними могу говорить, как с равными по духу, не сдерживаться и вываливать все, что накопело.

Это одна большая комната, здесь все самое необходимое – потасканная мебель, с трудами перевезенная из предыдущих работ. Самое ценное – компьютерная техника, вокруг которой кучкуются сотрудники в яростном желании пробиться к известности. Полки завалены журналами и книгами – редакция подрабатывает изданием бумажных и электронных книг жаждущих славы авторов и рецензиями за их счет, но их книги не идут из-за трудностей «раскрутки». Обстановка говорит о больших замыслах и ничтожном результате усилий.

Я пришел сюда, к моему студенческому приятелю – редактору Бате. Он соответствовал прозвищу: староватый от природы, большерукий, с хищным крючковатым носом и глубокими складками по сторонам.

Батя ругался с лохматым поэтом. Стихи у лохматого – о том, что у эфиопов синяя морда и красная жопа, а у русских – наоборот.

– Неправда, твоих строчек не изменял, – юркой скороговоркой выпуливал Батя. А-а, друг!.. Давай, что у тебя там?

Трепеща, позвонил ему через месяц.

– Готовь презент! – весело сказал он, – состряпал рецензию, хорошую.

– А если книга плохая?

– Ты что! Плати, и сделаем.

Через две недели в его журнальчике вышла бодрая залихватская рецензия, возносящая автора высоко, законченная так: «Духовно обогатиться «на халяву», за счет интеллекта автора – святое дело». Я купил ему две бутылки лучшей водки, пропущенной через молоко, – не смея оскорбить друга оплатой. Потом было стыдно, что не заплатил ему.

– Не формат! – кричит в мобильник редактор Батя, поводя хищным носом. – Что это такое? Догадайтесь сами.

– А, юный свободный художник! – отрывается от корректуры своей статьи главный редактор Пахомов, Он печатается, и уже забыл, с какой хитростью и ловкостью, через знакомства пробивался, и потому добродушно обращен ко мне мозолистой душой

Здесь, в редакции, атмосфера опасности. Все пишущие, я боюсь обмануться в их снисходительном отношении ко мне. Всегда чувствую себя перед ними, как младший в семье.

Там я впервые встретил поэта Веню, сумевшего издать книжку стихов. Он писал острые статьи и эссе. Это тщедушный человечек с красивой седой полосой в беспорядочной шевелюре.

Статьи он начал писать случайно. Ему было невыносимо от скорби матери, написавшей ему о самоубийстве сына-подростка. Отчего участились самоубийства в "зонах отчуждения", никто не знал. И Веня проводил расследование.

Он усмехается.

– Какая гадость! Вы тут все сумасшедшие. Слово потеряло смысл, идеи – соответственно.

Его тщедушность переставали замечать, когда он открывал рот. И беспомощная улыбка контрастировала с резкими словами.

Батя громко восхищается.

– Да, все мы больные. Под форматными лицами – готовые кандидаты в психушку. В человеке заложено безумие. Разве секс – не безумие?

У него было много сожительниц, они почему-то уходили от него. Он жил с очередной женщиной.

К Вене почему-то прилипла кличка «пришелец», потому что его не было несколько лет, словно появился ниоткуда. И никогда не говорил, где был. Он витает где-то вне времени, в космических метафорах нового писателя, считающего, что мертвых можно оживить лучом сознания внешнего наблюдателя, возвращающего их свет. Его книжку он носил подмышкой.

– Люди считают поэзией любовные песенки попсы, воображая их истекающую спермой любовь конечным пунктом человечества. И застывшую красоту – природы, мироздания, облекаемую в красивую грусть стиха. Вот, например: «Моя душа на дерево похожа/ – молчащий ствол с невнятицей ветвей./ Она молчит свой долгий век, и все же/ Сказать сумеет все, что нужно ей". Неплохо. Но это неполнота в космической открытости человека.

Я всегда хотел легкости бытия перед непомерной тяжестью чуждого мира. И смутно понимал слова Вени: «Есть нечто гораздо выше, чем твои улеты в безгранично близкое. Площадка поэзии – метафоры конкретных предметов мира, а не абстрактные слезы восторга. Цель искусства – не в улете, а в осознании смысла истории».

– Пророком, увидевшим наше время, был Андрей Вознесенский, говорил Веня тихим голосом. – Аэропорты – реторты неона... Правда, в его будущем, выделившем наши приметы, проморгал новое угнетение человека. Остались классики – те старики прежних веков, что живы до сих пор.

Ему близки классики далекого девятнадцатого века. И романтика шестидесятников двадцатого. В том числе их пьянство. Он вещал:

– Как и они, я не согласен с современностью этически...

Батя вытаскивает из-под стола бутылку.

– Но, но! – возмущается главный. – Мы еще на работе.

И достает из стола представительские конфеты и хрустящие хлебцы.

Разговор оживился.

– Как, вас еще не закрыли? – спросил осовевший главный. Он скрытый алкоголик, это заметно по запаху, исходящему от него постоянно.

– Закрыть нас нельзя, – сказал я доверчиво. – Мы общественники, не надо отчитываться за воровство бюджетных денег.

– Им денег не нужно! – заржал Батя.

Веня отвернулся с раздражением.

Главный нахмурился.

– Смотри, как бы тебя не закрыли. Мы тоже – на грани.

– Не закроют, – болтал Батя. – Заграница нам поможет.

Только здесь я стал понимать издателей, захваченных корпорациями-монстрами, к которым приходил, и уходил в ненависти. Они хирели на глазах, борясь за выживание, побежденные сначала теми монстрами, а потом электронными издательствами, уже безнадежно переродились в лихих лавочников. Как и мы, брошенные, в постоянной тревоге, что нас закроют за ненужностью.

Веня робко глянул.

– Не волнуйтесь, давно прорвало запруды цензуры, и слово потеряло вес, окончательно обесценилось. Наступило время самоцензуры – от страха перед чем-то страшнее печатного или произнесенного публично слова.

– За успех! – поднимает рюмку главный.

– Поскольку успеха нет – сказал Веня, поднимая стакан, – остается только за благородство мысли.

– Я за любовь к людям, – возбудился Батя. – А любить можно только женщин.

Такой тост мне понравился.

Бате мешают взбрыкивания его шутовской натуры, постоянно играет, ерничает. Как краб, всю жизнь носил некий панцирь, привык и никак не мог выйти из него. Никто не принимал его всерьез.

С ними мне не по себе. Их я знаю давно, но иногда приходит мысль: что это за люди? Какое имеют отношение ко мне? Живут в сегодняшних нехватках, не чуя под собой почвы. Главный относится к своему делу очень серьезно, как к чему-то значительному и единственно важному, не понимая, что все безнадежно.

Мы спорили о путях изменения системы и важной роли интеллигенции, чтобы нас заметили и вознесли. Спорили до изнеможения, как влюбленный Фридрих Ницше спорил с Лу Саломэ, одной из самых блестящих умов старого времени.

– История – сплошное притворство! – разглагольствовал Батя. – Интеллигенты сплошь предавали – и народ, и самих себя. Великий артист-эстрадник присваивал чужие тексты, как свои, пользуясь бесправием пишущих для него сатириков, которые не смели восставать открыто. Теперь все выходит наружу, люди отвернулись от былых классиков, от всякой фальши гуманизма, как будто спала пелена. Не стало авторитетов, и новых смыслов не стало.

– У меня даже есть стих, – не выдержал я..

– Ну, ну, – заинтересовался главный. Я с испугом прочитал:

*И лишь потом пойдем, что в жизни нашей
Откроется вся суть, как ни крути,
Через кого мы прошагали страшно,
Убив ли, затоптав или растлив?
Так Горький Достоевского затюкал,
И не спасла планету красота,
И Маяковский пулей тонко тенькал
По стенке храма, золоту креста.
Бил по Булгакову матрос Вишневский,
И Мандельштама отряхнули с ног,
Полдневно-средиземного пришельца
Полуденных средневековых снов.*

Великие друзья иронично похлопали ладонями.

– Какая архаика! – удивился Батя. – Как тебе приходят в голову старые формы?

Он был за Ренессанс конца двадцать первого века.

– Настоящая боль проста, банальна, – защитил Веня. – Я так и пишу.

Я заужал Веню, он один отозвался о моем сборнике: «У тебя есть свой голос». Это была высшая похвала.

Я не чувствовал нужного душевного покоя, хотя тянуло к ним. Не то! Наверно, только Веня более-менее привлекал. Есть в нем что-то глубокое, в чем можно увлечься, пока разгадываешь его глубину.

Мы вышли с Батей и Веней – с неопределенным желанием где-то продолжить. На уютной продуваемой площади холодно и мерзко. Зона отчуждения – зияние разрухи, оставшейся с начала века.

Странно, впервые ощутили погоду – в мегаполисе ее нет, мы все время прячемся в закрытых помещениях. Веня поежился.

– Там, где вложены деньги ради прибыли, всегда неуютно и холодно, и гуляет роза ветров. Счастливы спешат убраться из этого пространства, не предназначенного для жизни, в свои уютные гнезда.

Нас тоже тянет в тепло забегаловки. Что это за дикое поле, и где найти приют? Мы смотрим друг на друга, в наши надоевшие рожи, не видя выхода из этого дикого поля.

Батя выдает тоску в своей обычной манере:

– Сейчас девочек бы... Только с ними можно насладиться, очиститься, слиться, покураться, ущипнуть, пожаловаться, исповедаться, только они могут пожалеть.

Во мне застряло что-то мучительное, отчего нужно избавиться, прямо сейчас, физически. Может быть, полная безнадега на работе? Болезнь мамы?

– Побежали!

И мы, как очумелые, бросились вниз по крутой улице, выложенной древней брусчаткой. В этот момент мы были социально опасными.

Забрели в незнакомое дикое место, сюда приезжали даже из Нью-сити паломники из опрошенцев, чтобы отдохнуть от пост-человеческой цивилизации, возвратиться к простому человеческому существованию. Ведь должно же быть у человека место, куда он может забиться и быть счастливым!

Какой-то вокзал, старые трамвайные рельсы. Зброшенный безобразный остов древности.

Здесь пахло углем. Уголь снова занял место, как было в далеком начале двадцатого века, во всяком в случае в зонах отчуждения. Здравствуй, гулкий вокзал, – откуда здесь запахи угля, памятью предков мне открывавшие мир? Неутешительно для экологии – сказало на потеплении климата.

Это отмирающая окраина, где поселилось все, что не востребовано новой цивилизацией, «гарлем», по имени заброшенного района Нью-Йорка, сейчас наполовину затопленного в результате глобального потепления.

Внизу парк, неухоженное озеро, словно оставленное для первобытной рыбной ловли. Там, снуют разноцветные шляпки вокруг живописных островков. Что-то отрадное проглянуло. Тепло и тихо, мир как будто отгрохотал бездушной суетой, и это примирило меня с ним.

На нас напало безумие. Понеслись по набережной вдоль воды. Прибежали к разрушенному виадуку. На торцах столбиков, торчавших из воды, балансировали пацаны, согнувшись над удочками.

Веня орал:

– Ты ее под зебры, под зебры! Га, пост-авторитарные мальки хитры во все времена... А вы на середине озера не пробовали?

Батя кривоного перепрыгивал столбики и, рисуясь, чуть не упал в реку, я испугался, представив, как качусь по каменному склону набережной в темную ледяную воду, где не за что ухватиться, чтобы выплыть.

Батя исчез где-то.

Пацаны стали закидывать вершу.

– Аас... два...

– Ты что кинул раньше свой угол? Чуть не утопил вершу, и я чуть не упал.

– Аас... два... три...

Вытянули: там серые скользкие мокрицы и черные листья. Забился малек, незаметный от прозрачности. Его кинули в банку.

Веня захлебывался от счастья.

– Давайте, пацаны, мы кинем, мы дюжие.

Ухнули. Одна тина. Обтерли пальцы о траву. Веня заглянул в свою папку: все его произведения целы.

Прошли к бульвару.

Веня оттаянно говорил:

– Я ищу живое. Осязаемый родной голос, исходящий из глубины души. А вы ищете какого-то содержания. Текст – это мысли чувства, а не изображение природы. Все идеи – сухие. Главное – глубина человека, в нем все идеи, и что-то большее. Безграничность космоса, из элементов которого мы состоим. Каждый безграничен, как глубинная суть стиха.

Оказывается, я ждал всю жизнь друга и наставника. Нет человека, кто бы меня понял, кому можно было бы рассказать мое одиночество. Такие перевелись, или я их не замечаю, замкнувшись в себе.

А теперь нашел человека, с кем мог поговорить. У него были черты Вени. Плохо то, что он не впускал меня, и никого в свою жизнь.

Мы говорили с ним о прочитанных философских книгах, словно читали одно и то же. И я не видел в нем мелкого дна, наполненного слухами и штампами видеоклипов.

– Не могу жить в мире, где никому не нужен, – стыдливо сказал я. Веня усмехнулся.

– Все живут. И ты живи.

– Как пробиться в ясность? Какой-то туман в голове, нет законченности мысли. Как писать, когда не можешь уяснить до конца свою тему? Наверно, разрешу что-то в себе и научусь писать, только когда буду умирать.

– Это потому, что голова забита муками одиночества эгоиста, тщеславием и графоманскими попытками пробиться в близкий мир.

Меня это задело, но с ним не мог злиться.

– А как пробиться?

– Как, как, – раздражился Веня. – Для этого нужно, чтобы в жизни было чем вдохновляться. Да, сейчас вроде высшая цивилизация конца двадцать первого века. Все упорядочено, все вроде для человека, все сыты, хотя есть иерархия сытости. Общество блюдет свою расслабленность в новых уютных технологиях. Но нет личностей. И во мне нет ничего, кроме жалости к потерянному человеку, прожигающему жизнь. В нашу жизнь вернулось одиночество, описанное еще классиками. Видимо, история идет кругами чистилища, может быть, спускаясь на еще более низкий уровень. Движет только безнадежная цель, исцеление от боли судьбы.

– Да, люди как глазок камеры. Смотрят на улицы, машины, парки, – и только это в их сознании.

– Не так. Наш век – опосредованной информации. Мы видим реальность как пастиш, и только подбираем фрагменты из прошлых текстов для своих умозаключений. Нужно прорваться на свободную воду своих порывов, принять мир близко к сердцу. Тогда появится интонация, замысел. Но об этом не говорят. Ты сам должен что-то понять в себе.

Веня помолчал.

– Самопознание! Только оно разбудит мир! Но у нас нет желания проснуться.

Надо же, он говорит о самопознании! Этот вопрос мучает меня.

Я почему-то всегда думал, что жизнь без такого озарения пуста, похожа на холостой ход цивилизации: там, в неведомой тьме совершаются механические жестокости отчуждения, и подлости, и это считается естественным. Достаточно пустой американской улыбки, и великая мечта благоденствия воцаряется в душе.

– Разве нас мало, кто думает?

– Не будь самонадеян. Вообще-то все занимаются самопознанием. Только не насилуя себя, медленно и естественно, без рывков гениев. Люди действуют не бездумно, вся их жизнь – в диалоге, в спорах. Споры о том, что будет дальше – заполнили страницы сайтов и книг. Редкие рано приходят к мудрости, но большинство – в конце. Когда уже пора умирать.

– Но как удержать вдохновение?

– Оно недолговечно. И всегда, как в первый раз, у него повторов не бывает, как в сексе. Одни все время ищут что-то, проясняющее мозги, другие считают это бессмысленным, или не думают искать. Твое мальчишеское неприятие системы – из нетерпения. Я смотрю в боль судьбы, как в замысел стихотворения. Если не вижу исцеляющего, то строки мои полны скорби. Это тоже поэзия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.